

Владимир Набоков

Защита Лужина

1

Больше всего его поразило то, что с понедельника он будет Лужиным. Его отец – настоящий Лужин, пожилой Лужин, Лужин, писавший книги, – вышел от него, улыбаясь, потирая руки, уже смазанные на ночь прозрачным английским кремом, и своей вечерней замшевой походкой вернулся к себе в спальню. Жена лежала в постели. Она приподнялась и спросила: «Ну что, как?» Он снял свой серый халат и ответил: «Обошлось. Принял спокойно. Ух... Прямо гора с плеч». «Как хорошо... – сказала жена, медленно натягивая на себя шелковое одеяло. – Слава Богу, слава Богу...»

Это было и впрямь облегчение. Все лето – быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья – все лето они обсуждали вопрос, когда и как перед ним открыться, и откладывали, откладывали, дотянули до конца августа. Они ходили вокруг него, с опаской суживая круги, но, только он поднимал голову, отец с напускным интересом уже стучал по стеклу барометра, где стрелка всегда стояла на шторме, а мать уплывала куда-то в глубь дома оставляя все двери открытыми, забывая длинный, неряшливый букет колокольчиков на крышке рояля. Тучная француженка, читавшая ему вслух «Монте-кристо» и прерывавшая чтение, чтобы с чувством воскликнуть «бедный, бедный Дантес!», предлагала его родителям, что сама возьмет быка за рога, хотя быка этого смертельно боялась. Бедный, бедный Дантес не возбуждал в нем участия, и, наблюдая ее воспитательный вздох, он только щурился и терзал резинкой ватманскую бумагу, стараясь поужаснее нарисовать выпуклость ее бюста.

Через много лет, в неожиданный год просветления, очарования, он с обморочным восторгом вспомнил эти часы чтения на веранде, плывущей под шум сада. Воспоминание пропитано было солнцем и сладко-чернильным вкусом тех лакричных палочек, которые она дробила ударами перочинного ножа и убеждала держать под языком. И сборные гвоздики, которые он однажды положил на плетеное сидение кресла, предназначенного принять с рассыпчатым потрескиванием ее грузный круп, были в его воспоминании равноценны и солнцу, и шуму сада, и

комару, который, присосавшись к его ободранному колену, поднимал в блаженстве рубиновое брюшко. Хорошо, подробно знает десятилетний мальчик свои коленки, – расчесанный до крови волдырь, белые следы ногтей на загорелой коже, и все те царапины, которыми расписываются песчинки, камушки, острые пруттики. Комар улетал, избежав хлопка, французенка просила не егозить; с остервенением, скаля неровные зубы, – которые столичный дантист обхватил платиновой проволокой, – нагнув голову с завитком на макушке, он чесал, скреб всей пятерней укушенное место, – и медленно, с возрастающим ужасом, французенка тянулась к открытой рисовальной тетради, к невероятной карикатуре.

– «Нет, я лучше сам ему скажу, – неуверенно ответил Лужин старший на ее предложение. – Скажу ему погода, пускай он спокойно пишет у меня диктовки». «Это ложь, что в театре нет лож, – мерно диктовал он, гуляя взад и вперед по классной. – Это ложь, что в театре нет лож». И сын писал, почти лежа на столе, скаля зубы в металлических лесах, и оставлял просто пустые места на словах «ложь» и «лож». Лучше шла арифметика: была таинственная сладость в том, что длинное, с трудом добытое число, в решительный миг, после многих приключений, без остатка делится на девятнадцать.

Он боялся, Лужин старший, что, когда сын узнает, зачем так нужны были совершенно безликие Трувор и Синеус, и таблица слов, требующих ять, и главнейшие русские реки, с ним случится то же, что два года назад, когда, медленно и тяжело, при звуке скрипевших ступеней, стрелявших половиц, передвигаемых сундуков, наполнив собою весь дом, появилась французенка. Но ничего такого не случилось, он слушал спокойно, и, когда отец, старавшийся подбирать любопытнейшие, привлекательнейшие подробности, сказал, между прочим, что его, как взрослого, будут звать по фамилии, сын покраснел, заморгал, откинулся навзничь на подушку, открывая рот и мотая головой («не ерзай так», опасливо сказал отец, заметив его смущение и ожидая слез), но не расплакался, а вместо этого весь как-то надулся, зарыл лицо в подушку, пукая в нее губами, и вдруг, быстро привстав, – трепанный, теплый, с блестящими глазами, – спросил скороговоркой, будут ли и дома звать его Лужиным.

И теперь, по дороге на станцию, в пасмурный, напряженный день, Лужин старший, сидя рядом с женой в коляске, смотрел на сына, готовый тотчас же улыбнуться, если тот повернет к нему упрямо-отклоненное лицо, и

недоумевал, с чего это он вдруг стал «крепенький», как выражалась жена. Сын сидел на передней скамеечке, закутанный в бурый лоден, в матросской шапке, надетой криво, но которую никто на свете сейчас не посмел бы поправить, и глядел в сторону, на толстые стволы берез, которые, крутясь, шли мимо, вдоль канавы, полной их листьев. «Тебе не холодно?» – спросила мать, когда, на повороте к мосту, хлынул ветер, от чего побежала пушистая рябь по серому птичьему крылу на ее шляпе. «Холодно», – сказал сын, глядя на реку. Мать, с мурлыкающим звуком, потянулась было к его плащiku, но, заметив выражение его глаз, отдернула руку и только показала перебором пальцев по воздуху: «завернись, завернись поплотнее». Сын не шевельнулся. Она, пуча губы, чтобы отлепилась вуалетка ото рта, – постоянное движение, почти тик, – посмотрела на мужа, молча прося содействия. Он тоже был в плаще-лодене, руки в плотных перчатках лежали на клетчатом пледе, который полого спускался и, образовав долину, чуть-чуть поднимался опять, до поясницы маленького Лужина. «Лужин, – сказал он с деланной веселостью, – а, Лужин?» – и под пледом мягко толкнул сына ногой. Лужин подобрал коленки. Вот крыши изб, густо поросшие ярким мхом, вот знакомый старый столб с полустертой надписью (название деревни и число душ), вот журавль, ведро, черная грязь, белоногая баба. За деревней поехали шагом в гору, и сзади, внизу, появилась вторая коляска, где тесно сидели француженка и экономка, ненавидевшие друг дружку. Кучер чмокнул, лошади опять пустились рысью. Над жнивьем по бесцветному небу медленно летела ворона.

Станция находилась в двух верстах от усадьбы, там, где дорога, гулко и гладко пройдя сквозь еловый бор, пересекала петербургское шоссе и текла дальше, через рельсы, под шлагбаум, в неизвестность. «Если хочешь,пусти марионеток», – льстиво сказал Лужин старший, когда сын выпрыгнул из коляски и устоялся в землю, поводя шеей, которую щипала шерсть лодена. Сын молча взял протянутый гривенник. Из второй коляски грузно выползли француженка и экономка, одна вправо, другая влево. Отец снимал перчатки. Мать, оттягивая вуаль, следила за грудастым носильщиком, забиравшим пледы. Прошел ветер, поднял гривы лошадей, надул малиновые рукава кучера.

Оказавшись один на платформе, Лужин пошел к стеклянному ящичку, где пять куколок с голыми висячими ножками ждали, чтобы ожить и завертеться, толчка монеты; но это ожидание было сегодня напрасно, так как автомат оказался испорченным, и гривенник пропал даром. Лужин

подождал, потом отвернулся и подошел к краю платформы. Справа, на огромном тюке, сидела девочка и, подперев ладонью локоть, ела зеленое яблоко. Слева стоял человек в крагах, со стеклом в руках, и глядел вдаль, на опушку леса, из-за которого через несколько минут появится предвестник поезда – белый дымок. Спереди, по ту сторону рельс, около бесколесного желтого вагона второго класса, вросшего в землю и превращенного в постоянное человеческое жилье, мужик колол дрова. Вдруг туман слез скрыл все это, обожгло ресницы, невозможно перенести то, что сейчас будет, – отец с веером билетов в руке, мать, считающая глазами чемоданы, влетающий поезд, носильщик, приставляющий лесенку к площадке вагона, чтобы удобнее было подняться. Он оглянулся. Девочка ела яблоко; человек в крагах смотрел вдаль; все было спокойно. Он дошел, словно гуляя, до конца платформы и вдруг задвигался очень быстро, сбежал по ступеням, – битая тропинка, садик начальника станции, забор, калитка, елки, – дальше овражек и сразу густой лес.

Сначала он бежал прямо лесом, шурша в папоротнике, скользя на красноватых ландышевых листьях, – и шапка висела сзади на шее, придерживанная только резинкой, коленям в шерстяных, уже городских чулках было жарко, – он плакал на бегу, по-детски картаво чертыхаясь, когда ветка хлестала по лбу, – и наконец остановился, присел, запыхавшись, на корточки, так что лоден покрыл ему ноги.

Только сегодня, в день переезда из деревни в город, в день, сам по себе не сладкий, когда дом полон сквозняков, и так завидуешь садовнику, который никуда не едет, только сегодня он понял весь ужас перемены, о которой ему говорил отец. Прежние осенние возвращения в город показались счастьем. Ежедневная утренняя прогулка с француженкой, – всегда по одним и тем же улицам, по Невскому и кругом, через Набережную, домой, – никогда не повторится. Счастливая прогулка. Иногда ему предлагали начать с Набережной, но он всегда отказывался, – не столько потому, что с раннего детства любил привычку, сколько потому, что нестерпимо боялся петропавловской пушки, громового, тяжкого удара, от которого дрожали стекла домов и могла лопнуть перепонка в ухе, – и всегда устраивался так (путем незаметных маневров), чтобы в двенадцать часов быть на Невском, подальше от пушки, – выстрел которой настиг бы его у самого дворца, если бы изменился порядок прогулки. Кончено также приятное раздумье после завтрака, на диване, под тигровым одеялом, и ровно в два – молоко в серебряной чашке, придающей молоку такой драгоценный вкус, и ровно в

три – катание в открытом ландо. Взамен всего этого было нечто, отвратительное своей новизной и неизвестностью, невозможный, неприемлемый мир, где будет пять уроков подряд и толпа мальчиков, еще более страшных, чем те, которые недавно, в июльский день, на мосту, окружили его, навели жестяные пистолеты, пальнули в него палочками, с которых коварно были сдернуты резиновые наконечники.

В лесу было тихо и сыро. Наплакавшись вдоволь, он поиграл с жуком, нервно поведившим усами, и потом долго его давил камнем, стараясь повторить первоначальный сдобный хруст. Погодя он заметил, что заморосило. Тогда он встал с земли, нашел знакомую тропинку и побежал, спотыкаясь о корни, со смутной, мстительной мыслью, добраться до дому и там спрятаться, провести там зиму, питаясь в кладовой вареньем и сыром. Тропинка, минут десять поюлив в лесу, спустилась к реке, которая была сплошь в кольцах от дождя, и еще через пять минут показался лесопильный завод, мельница, мост, где по щиколку утопаешь в опилках, и дорожка вверх, и через голые кусты сирени – дом. Он прокрался вдоль стены, увидел, что окно гостиной открыто, и, взобравшись около водосточной трубы на зеленый облупленный карниз, перевалился через подоконник. В гостиной он остановился, прислушался. Дагерротип деда, отца матери, – черные баки, скрипка в руках, – смотрел на него в упор, но совершенно исчез, растворился в стекле, как только он посмотрел на портрет сбоку, – печальная забава, которую он никогда не пропускал, входя в гостиную. Подумав, подвигав верхней губой, отчего платиновая проволока на передних зубах свободно ездил вверх и вниз, он осторожно открыл дверь и, вздрагивая от звонкого эхо, слишком поспешно после отъезда хозяев вселившегося в дом, метнулся по коридору и оттуда, по лестнице, на чердак. Чердак был особенный, с оконцем, через которое можно было смотреть вниз, на лестницу, на коричневый блеск ее перил, плавно изгибающихся пониже, терявшихся в тумане. В доме было совершенно тихо. Погодя, снизу, из кабинета отца, донесся заглушенный звон телефона. Звон продолжался с перерывами довольно долго. Потом опять тишина.

Он устроился на ящике. Рядом был такой же ящик, но открытый, и в нем были книги. Дамский велосипед с рваной зеленой сеткой, натянутой вдоль заднего колеса, стоял на голове в углу, между необструганной доской, прислоненной к стене, и огромным баулом. Через несколько минут Лужину стало скучно, как когда горло обвязано фланелью, и нельзя выходить. Он потрогал пыльные, серые книги в ящике, оставляя на них черные

отпечатки. Кроме книг, был волан с одним пером, большая фотография (военный оркестр), шахматная доска с трещиной и прочие, не очень занимательные вещи.

Так прошел час. Он услышал вдруг шум голосов, воющий звук парадной двери и, осторожно выглянув в окошечко, увидел внизу отца, который, как мальчик, взбегал по лестнице и, не добежав до площадки, опять проворно спустился, двигая врозь коленями. Там, внизу, слышались теперь ясно голоса, – буфетчика, кучера, сторожа. Через минуту лестница опять ожила, на этот раз быстро поднималась по ней мать, придерживая юбку, но тоже до площадки не дошла, а перегнулась через перила и потом, быстро, расставив руки, сошла вниз. Наконец, еще через минуту, все гурьбой поднялись наверх, – блестела лысина отца, птица на шляпе матери колебалась, как утка на бурном пруду, прыгал седой бобрик буфетчика; сзади, поминутно перегибаясь через перила, поднимались кучер, сторож и, почему-то, Акулина-молочница, да еще чернобородый мужик с мельницы, обитатель будущих кошмаров. Он-то, как самый сильный, и понес его с чердака до коляски.

2

Лужин старший, Лужин, писавший книги, часто думал о том, что может выйти из его сына. В его книгах, – а все они, кроме забытого романа «Угар», были написаны для отроков, юношей, учеников среднеучебных заведений и продавались в крепких, красочных переплетах, – постоянно мелькал образ белокурого мальчика, и взбалмошного, и задумчивого, который превращался в скрипача или живописца, не теряя при этом нравственной своей красоты. Едва уловимую особенность, отличавшую его сына от всех тех детей, которые, по его мнению, должны были стать людьми, ничем не замечательными (если предположить, что существуют такие люди), он понимал, как тайное волнение таланта, и, твердо помня, что покойный тесть был композитором (довольно, впрочем, сухим и склонным, в зрелые годы, к сомнительному блистанию виртуозности), он не раз, в приятной мечте, похожей на литографию, спускался ночью со свечой в гостиную, где вундеркинд в белой рубашонке до пят играет на огромном черном рояле.

Ему казалось, что все должны видеть недюжинность его сына; ему казалось, что, быть может, люди со стороны лучше в ней разбираются, чем он сам. Школа, которую он для сына выбрал, особенно славилась внимательностью к так называемой «внутренней» жизни ученика, гуманностью, вдумчивостью, дружеским проникновением. Преданье говорило, что, в первое время ее существования, учителя в час большой перемены возились с ребятами, – физик мял, глядя через плечо, комки снега, математик получал на бегу крепкий мячик в ребра, и сам директор веселым восклицанием поощрял игру. Таких общих игр теперь больше не было, но идиллическая слава осталась. Классным воспитателем сына был учитель словесности, добрый знакомый писателя Лужина и, кстати сказать, недурной лирический поэт, выпустивший сборник подражаний Анакреону. «Забредите, – сказал он в тот день, когда Лужин старший в первый раз привел сына в школу. – В любой четверг, около двенадцати». Лужин забрел. На лестнице было пусто и тихо. Проходя через зал в учительскую, он слышал из второго класса глухой, многоголосый раскат смеха. Затем, в тишине, шаги его особенно звонко застучали по желтому паркету зала. В

учительской у большого стола, покрытого сукном, напоминавшим об экзаменах, сидел воспитатель и писал письмо.

С тех пор, как его сын поступил в школу, он с воспитателем еще не говорил и теперь, спустя месяц являясь к нему, был полон щекочущего ожидания, некоторого волнения и робости, – всех тех чувств, которые он некогда испытал, когда, юношей в студенческой форме, пришел к редактору, которому недавно послал первую свою повесть. И теперь, как и тогда, вместо слов изумления, которых он смутно ожидал (как, проснувшись в чужом городе, ожидаешь, еще не раскрыв век, необыкновенного, сияющего утра), вместо всех тех слов, которые он бы с такой охотой сам подсказал, если бы не надежда, что все-таки их дождется, – он услышал пасмурные, холодноватые слова, доказывавшие, что его сына воспитатель понимает еще меньше, чем он сам. О какой-либо тайной даровитости тот и не обмолвился. Наклонив бледное, бородатое лицо, с двумя розовыми выемками по бокам носа, с которого он осторожно снял цепкое пенсне, вытирая глаза ладонью, воспитатель начал говорить первым, сказал, что мальчик мог бы учиться лучше, что мальчик, кажется, не ладит с товарищами, что мальчик мало бегает на переменах... «Способности у мальчика несомненно есть, – сказал воспитатель, покончив манипуляции с глазами, – но наблюдается некоторая вялость». В это мгновение где-то внизу родился звонок, перекинулся наверх, невыносимо пронзительно прошел по всему зданию. После этого были две-три секунды полнейшей тишины, – и вдруг все ожило, зашумело, захлопали крышки парт, зал наполнился говором, топотом. «Большая перемена, – сказал воспитатель. – Если хотите, сойдемте во двор, посмотрите, как резвятся ребята».

Они быстро съезжали по каменной лестнице, обняв балюстраду, скользя подошвами сандалий по отшлифованным краям ступеней. Внизу, в темной тесноте вешалок, переобувались; иные сидели на широких подоконниках, кряхтели, поспешно затягивая шнурки. Вдруг он увидел сына, который, сгорбившись, брезгливо вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнул его, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему, держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливая необходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словно отца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился с сапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он, после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак. Когда он наконец вышел, – в длинном, сером пальто и каракулевом колпачке (который один и тот же

детины постоянно с него смахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, и выжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель и, когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатился случайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивно продолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет его пнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялся с большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужин младший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже было совсем спокойно, и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар. Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразной решетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстро попрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда он выполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево, под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он сел на поленья.

Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен, до того года, когда он был увезен за границу. Иногда воспитатель неожиданно появлялся из-за угла. «Что ж ты, Лужин, все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами». Лужин вставал с дров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делал несколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от тех трех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этот час, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и, удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам. Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когда он почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливое любопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, и все то, на что он глядел, – по проклятой необходимости смотреть на что-нибудь, – подвергалось замысловатым оптическим метаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом; белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; как будто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивее голос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком на щеках, тихо и удовлетворенно говорил: «сейчас расплачется». Но он не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда в уборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкую раковину, где застыли желтые пузыри. «Господа, – сказал воспитатель на одном из первых уроков, – ваш новый товарищ – сын писателя. Которого, если вы еще не читали, то прочитайте». И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-под пальцев с хрустом крошился мел: «Приключения Антоши, изд. Сильвестрова». В течение двух-трех месяцев после этого

Лужина звали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класс книжку и во время урока исподтишка показывал ее другим, многозначительно косясь на Лужина, – а когда урок кончился, стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова. Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу, и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: «Мой папа говорит, что писатель очень второго сорта». Громов крикнул: «Пусть Антоша нам вслух почитает!» «А мы лучше каждому по кусочку дадим», – со смаком сказал шут класса, после бурной схватки завладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницы рассыпались по всему классу. На одной была картинка, – ясноокий гимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку. На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками к внутренней стороне партовой крышки.

Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредка вспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее не отзывался, то и она, наконец, погасла. Лужина перестали замечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня в классе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременно толстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить его презренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шесть спустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затем потерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (в двадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не мог себе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед ним в классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы, подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике, – руки в карманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Он старался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особый снег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутью застилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойный эмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: «Представьте себе, – совершенно не помню его лица... Ну, совершенно не помню...»

Но Лужин старший, около четырех посматривавший в окно, видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко. Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух, прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался. «Постой, – говорил отец, – постой. Расскажи, что было сегодня. Вызывали?»

Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и ему хотелось взять

его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловать в бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленького Лужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чесноком из-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновую полоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться, подворачивая верхнюю губу. Он был одет в серый английский костюмчик, – хлястик сзади, короткие штаны с пуговками пониже колен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге, и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сын уходил, волоча ранец по ковру; Лужин старший облокачивался на стол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, быть может, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, и прислушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены, уговаривающей тишину выпить какао. «Страшная тишина, – думал Лужин старший. – Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевная жизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужно же ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка, загадка...»

«Съешь хоть кекса», – горестно продолжал голос за стеной, – и опять тишина. Но изредка происходило ужасное: вдруг, ни с того, ни с сего, раздавался другой голос, визжащий и хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда он вскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелу. Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку, блюдечко, смотрела, нет ли трещин. «Я его расспрашивала о школе, – говорила она, не глядя на мужа, – он не хотел отвечать, – а потом, вот... как бешеный...» Они оба прислушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уже никто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там обои были белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованы были серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то же самое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажерке стоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе. Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая была комната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.

Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных, рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице: «Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животным и людям так, как Антоша», – и большой восклицательный знак. Или: «Эту книгу я писал, думая о твоём будущем, мой сын». Эти надписи вызывали в нём смутный стыд за отца, а самые книжки были столь же скучны, как «Слепой музыкант» или «Фрегат Паллада». Большой том Пушкина, с портретом толстогубого курчавого

мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги – обе, подаренные ему тетей, – которые он полюбил на всю жизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, и так страстно пережил, что через двадцать лет, снова их перечитав, он увидел в них только суховатый пересказ, сокращенное издание, как будто они отстали от того неповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили. Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать по пятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственным приключениям влекла его в дом на Бэкер-стрит, где, впрыснув себе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик с орлиным профилем. Только гораздо позже он сам себе уяснил, чем так волновали его эти две книги: правильно и безжалостно развивающийся узор, – Филеас, манекен в цилиндре, совершающий свой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне, купленном за миллион, то на судне, которое нужно наполовину сжечь на топливо; и Шерлок, придавший логике прелесть грез, Шерлок, составивший монографию о пепле всех видов сигар, и с этим пеплом, как с талисманом, пробирающийся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу. Фокусник, которого на Рождестве пригласили его родители, каким-то образом слил в себе на время Фогга и Холмса, и странное наслаждение, испытанное им в тот день, сгладило все то неприятное, что сопровождало выступление фокусника. Так как просьбы, осторожные, редкие просьбы, «позвать твоих школьных друзей», не привели ни к чему, Лужин старший, уверенный, что это будет и весело, и полезно, обратился к двум знакомым, сыновья которых учились в той же школе, а кроме того, пригласил детей дальнего родственника, двух тихих, рыхлых мальчиков и бледную девочку с толстой черной косой. Все приглашенные мальчики были в матросских костюмах и пахли помадой. В двух из них маленький Лужин с ужасом узнал Берсенева и Розена из третьего класса, которые в школе были одеты неряшливо и вели себя бурно. «Ну вот, – радостно сказал Лужин старший, держа сына за плечо (плечо медленно уходило из-под его ладони). – Теперь вас оставят одних, – познакомьтесь, поиграйте, – а потом позовут, будет сюрприз». Через полчаса он пошел их звать. В комнате было молчание. Девочка сидела в углу и перелистывала, ища картин, приложение к «Ниве». Берсенев и Розен сидели на диване, со сконфуженными лицами, очень красные и напوماженные. Рыхлые племянники бродили по комнате, без любопытства рассматривая английские гравюры на стенах, глобус, белку, давно разбитый педометр, валявшийся на столе. Сам Лужин, тоже в матроске, с белой тесемкой и свистком на груди, сидел на венском стуле у окна и смотрел

исподлобья, грызя ноготь большого пальца. Но фокусник все искупил, и даже, когда на следующий день Берсенев и Розен, уже настоящие, отвратительные, подошли к нему в школьном зале, низко поклонились, а потом грубо расхохотались и в обнимку, шатаясь, быстро отошли, – даже и тогда эта насмешка не могла нарушить очарование. По его хмурой просьбе, – что бы он ни говорил теперь, брови у него мучительно сходились, – мать привезла ему из Гостиного Двора большой ящик, выкрашенный под красное дерево, и учебник чудес, на обложке которого был господин с медалями на фраке, поднявший за уши кролика. В ящике были шкатулки с двойным дном, палочка, обклеенная звездистой бумагой, колода грубых карт, где фигурные были наполовину короли и валеты, а наполовину овцы в мундирах, складной цилиндр с отделениями, веревочка с двумя деревянными штучками на концах, назначение которых было неясно... И в кокетливых конвертиках были порошки, окрашивающие воду в синий, красный, зеленый цвет. Гораздо занимательнее оказалась книга, и Лужин без труда выучил несколько карточных фокусов, которые он часами показывал самому себе, стоя перед зеркалом. Он находил загадочное удовольствие, неясное обещание каких-то других, еще неведомых наслаждений, в том, как хитро и точно складывался фокус, но все же недоставало чего-то, он не мог уловить некоторую тайну, в которой вероятно был искушен фокусник, хватавший из воздуха рубль или вынимавший задуманную публикой семерку треф из уха смущенного Розена. Сложные приспособления, описанные в книге, его раздражали. Тайна, к которой он стремился, была простота, гармоническая простота, поражающая пуще самой сложной магии.

В письменном отзыве о его успехах, присланном на Рождестве, в отзыве, весьма обстоятельном, где, под рубрикой «Общие замечания», пространно, с плеоназмами, говорилось о его вялости, апатии, сонливости, неповоротливости и где баллы были заменены наречиями, оказалось одно «неудовлетворительно» – по русскому языку – и несколько «едва удовлетворительно», – между прочим, по математике. Однако, как раз в это время он необычайно увлекся сборником задач, «веселой математикой», как значилось в заглавии, причудливым поведением чисел, беззаконной игрой геометрических линий – всем тем, чего не было в школьном задачнике. Блаженство и ужас вызывало в нем скольжение наклонной линии вверх по другой, вертикальной, – в примере, указывавшем тайну параллельности. Вертикальная была бесконечна, как всякая линия, и наклонная, тоже бесконечная, скользя по ней и поднимаясь все выше, обречена была

двигаться вечно, соскользнуть ей было невозможно, и точка их пересечения, вместе с его душой, неслась вверх по бесконечной стезе. Но, при помощи линейки, он принуждал их расцепиться: просто чертил их заново, параллельно друг дружке, и чувствовал при этом, что там, в бесконечности, где он заставил наклонную соскочить, произошла немыслимая катастрофа, неизъяснимое чудо, и он подолгу замирал на этих небесах, где сходят с ума земные линии.

На время он нашел мнимое успокоение в складных <...> из больших кусков, вырезанных по краю круглыми зубцами, как бисквиты петибер, и сцеплявшихся так крепко, что, сложив картину, можно было поднимать, не ломая, целые части ее. Но в тот год английская мода изобрела складные картины для взрослых, – «пузеля», как называли их у Пето, – вырезанные крайне прихотливо: кусочки всех очертаний, от простого кружка (часть будущего голубого неба) до самых затейливых форм, богатых углами, мысками, перешейками, хитрыми выступами, по которым никак нельзя было разобрать, куда они приладутся, – пополнят ли они пегую шкуру коровы, уже почти доделанной, является ли этот темный край на зеленом фоне тенью от посоха пастуха, чье ухо и часть темени ясно видны на более откровенном кусочке. И когда постепенно появлялся слева круп коровы, а справа, на зелени, рука с дудкой, и повыше небесной синевой ровно застраивалась пустота, и голубой кружок ладно входил в небосвод, – Лужин чувствовал удивительное волнение от точных сочетаний этих пестрых кусков, образующих в последний миг отчетливую картину. Были головоломки очень дорогие, состоявшие из нескольких тысяч частей; их приносила тетя, веселая, нежная, рыжеволосая тетя, – и он часами склонялся над ломберным столом в зале, проверяя глазами каждый зубчик раньше, чем попробовать, подходит ли он к выемке, и стараясь, по едва заметным приметам, определить заранее сущность картины. Из соседней комнаты, где шумели гости, тетя просила: «Ради Бога, не потеряй ничего!» Иногда входил отец, смотрел на кусочки, протягивал руку к столу, говорил: «Вот это, несомненно, должно сюда лечь», и тогда Лужин, не оборачиваясь, бормотал: «Глупости, глупости, не мешайте», – и отец, осторожно прикоснувшись губами к его хохолку, уходил, – мимо позолоченных стульев, мимо обширного зеркала, мимо копии с купающейся Фрины, мимо рояля, большого безмолвного рояля, подкованного толстым стеклом и покрытого парчовой попоной.

3

Только в апреле, на пасхальных каникулах, наступил для Лужина тот неизбежный день, когда весь мир вдруг потух, как будто повернули выключатель, и только одно, посреди мрака, было ярко освещено, новорожденное чудо, блестящий островок, на котором обречена была сосредоточиться вся его жизнь. Счастье, за которое он уцепился, остановилось; апрельский этот день замер навеки, и где-то, в другой плоскости, продолжалось движение дней, городская весна, деревенское лето – смутные потоки, едва касавшиеся его.

Началось это невинно. В годовщину смерти тестя Лужин старший устроил у себя на квартире музыкальный вечер. Сам он в музыке разбирался мало, питал тайную, постыдную страсть к «Травиате», на концертах слушал рояль только в начале, а затем глядел, уже не слушая, на руки пианиста, отражавшиеся в черном лаке. Но музыкальный вечер с исполнением вещей покойного тестя пришлось устроить поневоле: уж слишком молчали газеты, – забвение было полное, тяжелое, безнадежное, – и жена с дрожащей улыбкой повторяла, что это все интриги, интриги, интриги, что и при жизни завидовали дару ее отца, что теперь хотят замолчать его славу. В открытом черном платье, в чудесном бриллиантовом ошейнике, с постоянным выражением сонной ласковости на пухлом, белом лице, она принимала гостей тихо, без восклицаний, нашептывая что-то быстрое, нежное по звуку, и, втайне шалея от застенчивости, все время искала глазами мужа, который подвигался туда-сюда мелкими шажками, с выпирающим из жилета крахмальным панцирем, добродушный, осторожный, с первыми робкими потугами на маститость. «Опять вышла нагишом», – со вздохом сказал издатель художественного журнала, взглянув мимоходом на Фрину, которая, благодаря усиленному освещению, была особенно ярка. Тут маленький Лужин попался ему под ноги и был поглажен по голове. Лужин попятился. «Какой он у вас стал огромный», – сказал дамский голос сзади. Он спрятался за чей-то фрак. «Нет, позвольте, позвольте, – загремело над его головой. – Нельзя же предъявлять таких требований к нашей печати». Вовсе не огромный, а напротив, очень маленький для своих лет, он ходил между гостей, стараясь найти тихое

место. Иногда кто-нибудь ловил его за плечо, спрашивал ерунду. В зале было тесно от золоченых стульев, которые поставили рядами. Кто-то осторожно вносил в дверь нотный пюпитр.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)